

15 января 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения прекрасного русского писателя, лауреата Государственной премии и многих других литературных премий, награждённого 26-ю орденами и медалями, ветерана войны, Евгения Ивановича Носова. Его друг, писатель Виктор Астафьев, назвал его первым рассказчиком России. А другой прозаик, Виктор Политов, сказал, что «повесть «Усвятские шлемоносцы» (она вместе с широко известным рассказом «Красное вино победы» вошла в многотомник «Шедевры русской литературы XX века») — это наши святцы, её надо издать в переплёте с золотыми застёжками... Язык Мастера называют златотканым, парчой высокой пробы. Своим учителем в литературе его считают многие писатели России».

Произведения Е. И. Носова печатались миллионными тиражами, по ним ставились кинофильмы и спектакли, делались инсценировки на радио. Они изучаются в школе, по ним пишут дипломные работы студенты, по ним защищают диссертации.

В 1970-е — 1980-е годы его переводили во многих странах на языки народов мира — немецкий, английский, японский, венгерский и др. — легче назвать страну, где не было таких переводов. Его творчество интересно любому народу, ибо он касается тем, предельно близких любому человеку — это добро и зло, война и мир, труд на земле, любовь к природе и родному краю, душа человека, его чувства и мысли, мир детства, трогательный мир братьев наших меньших — зверей и птиц — и многих других тем. Его страницы наполнены светом, добротой, они учат радоваться самой жизни и преодолевать трудности.

Широко известны рассказы и повести писателя: «Шумит луговая овсяница...», «За долами, за лесами...», «Храм Афродиты», «Потрава», «Домой, за матерью» и др. В 80-е — 90-е годы им создано много новых произведений, которые ещё не очень широко известны читателю и не переводились за рубежом. Это «Аз-буки...», «Кто такие?..», «Красное, жёлтое, зелёное...», «Греческий хлеб» — о детстве; «Тёмная вода», «Карманный фонарик», «Алюминиевое солнце» — о жизни деревни; «Памятная медаль», «Хутор Белоглин», «Синее перо Ватолина», «Фагот» — о войне и др. Очень бы хотелось, чтобы не только российские читатели, но и жители зарубежных стран узнали и полюбили эти произведения. Они учат добру, трудолюбию, помогают и взрослым, и детям познавать окружающий мир...

Е. И. Носов был участником Великой Отечественной войны. На фронт он пошёл в 18 лет в 1943 г. Он прошёл трудный путь рядового артиллериста, заряжающего орудия. В 45-м под Кенигсбергом был тяжело ранен, полгода пробыл в госпитале, об этом он пишет в рассказе «Красное вино победы» (1969 г.). Но ещё до этого, в 1961 г., им был написан небольшой рассказ «Тысяча вёрст» — о двух мальчиках, которые в своей избе ждут мать, ушедшую за хлебом. А в это время к ним входит замёрзший, уставший немец, который понимает, что война Германией проиграна, и он стреляет в себя.

В 1973 г. был написан рассказ «Шопен, соната номер два», где речь идёт об открытии обелиска павшим воинам и о том, как молодые оркестранты, игравшие на митинге, встречаются в деревенской избе трёх женщин, у которых на войне погибли мужья и сыновья. И в память о них ребята играют в избе траурный марш...

В 1975 г. вышли сразу 4 произведения Е. И. Носова о войне — рассказы «Фронтовые кашевары» и «Переправа», очерк «Парторг» и статья «Рубежи и вёрсты». В 1976 г. в газетах было напечатано 4 отрывка из будущей повести «Усвятские шлемоносцы» — «Летели бомбовозы», «Набат», «На берегах Остомли» и «На пути к фронту», а в 1977 г. повесть вышла целиком в журнале «Наш современник». Эта прекрасная повесть — о самом начале войны, о том, как жители деревни Усвяты, мужчины, собираются на фронт, на защиту родины, как прощаются они со своими семьями, с родной деревней. В повести нет ещё ни одного выстрела, но критика единодушно назвала её одним из лучших произведений о войне. Потому что автор, показал, насколько война противоречит самому духу русского человека, который не способен убивать, а главным своим призванием видит мирный труд.

Пронзительными словами говорит об этом писатель Евгений Носов. Каждый прочитавший его рассказы и повести, почувствует и боль, и горечь, и глубину утрат, через которые прошли наши люди в суровую военную годину. И чем больше правды мы будем знать о войне, тем больше останется надежды на сохранение мира.

Евгения СПАСКАЯ

* * *

Он объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до её начала.

По строгой мерке война — та, большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка, — занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окурочок брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком, тем более что случилось это далече и Красной Армии, пожалуй, вовсе не «светило» в нём поучаствовать, показать себя... А хотелось: ведь все мы наизусть знали, что «броня крепка и танки наши быстры» и уж «если завтра война, если завтра в поход», то...

Томимые неопределённостью, мы как-то нехотя пошли в школу и сели за свежеразкрашенные парты без обычной праздничной приподнятости.

И вот наконец кажется началось...

Недели через две от гарнизонных казарм к городскому железнодорожному вокзалу потянулись первые колонны пехотинцев в полном походном снаряжении с перекинутыми через плечо шинельными скатками, противопогазными подсумками и новенькими необношенными вещмешками.

Роты шли молча, без привычных банных песен, и только глухой резиновый топ кирзовых сапог создавал строгий ритм согласованного движения.

Потом две не то три ночи по булыжной мостовой громыхали обозные пароконки, походные кухни, санитарные фуры с красными крестами на округлых крышах. Фыркали и всхрапывали застоявшиеся в кирпичных стойлах полковые кони, с железной звонцой клацали подковами, высекая голубые искры из лобастых сверкачей. Терпко пахло ремённой сбруей, колёсным дёгтем, свежими конскими катышами.

Ребятишки допоздна просиживали за воротами, обомлело вглядываясь в мельтешащие сумерки, где под редкими фонарями в клубах потревоженной пыли нескончаемой лавиной катилось наше тогдашнее конно-тележное воинство. Наверное, так же оно уходило в поход ещё во времена Крымской кампании. И только иногда, словно примета текущего времени, уличную темень пронизывали лезвия жёлтых лучей из прорезей подфарников начальственной «эмки», должно быть, объезжавшей боевые порядки.

Тогда ещё никто не знал, что наши курские полки тоже отправлялись освободить из-под панского гнёта братские народы Западной Украины и Белоруссии.

С рассветом передвижение войск прекращалось, и город, как ни в чём не бывало, снова наполнялся обычными прохожими: кто спешил на службу, кто — на рынок, а ребятишки, в том числе и мы, — в школу, на занятия. Дворники же, вооружась совками и мётлами, принимались сметать и выскребать следы ночного столпотворения.

Однако по прошествии недолгого времени возбуждённый город постепенно успокоился, воротился к своему прежнему неспешному бытию. Были отпущены по домам некоторые возраста, излишне прихваченные переусердствовавшей мобилизацией. Газеты и уличные говорящие устройства приподнято сообщали, что недавняя частичная переброска войск, проведённая в некоторых военных округах, — всего лишь осуществление освободительной миссии нашей Красной Армии. Трудящиеся Львова, Ужгорода, Владимира-Волынского, а также Брест-Литовска, Гродно и Белостока уже встречают своих освободителей охапками цветов и благодарными возгласами. Говорилось также, что все эти города были освобождены без сопротивления польских гарнизонов, которые выбрасывали белые флаги при одном только появлении наших неудержимых войск.

...Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая позолотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишнёвой смолкой из уже начавших багроветь вишенников. А на главной городской площади, возле кинотеатра «Октябрь», переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на «Красных дьяволят». В новеньком цирке, возведённом на месте толчка — шумной, горластой, вороватой барахолки — успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрёстке. В Пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего «шапито» трещали и подвывали мотоциклы, проносившиеся у самого потолка. Случалось, какой-либо тучной тётке делалось плохо — не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков, и её спешно выносили в соседний скверик — на свежий воздух.

В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны по обыкновению собрались на уличном крыльце соседнего детского сада. Раз в неделю это кашеманное учреждение не работало, входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещённое ранним заспанном солнышком, приятно согрело тёплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ватажке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед порожками, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносьем. Парень был облачён в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень-то атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам.

Особую неприязнь вызвал маленький франтоватый чемоданчик с металлическими нашлёпками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Серёжка Махно окинул многозначительным взглядом насторожённые лица, что означало: «А не посчитать ли рёбра у этого оторванца? Их было человек шесть — вполне хватило бы разом налететь, дать подножку и завалить фраера в дождевую канаву.

А он, как ни в чём не бывало, непринуждённо, улыбочиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился в глубь двора, на его сарайчики, голубиную решётку, пёстрые постирушки на верёвках — глядел с въедливым интересом, будто выщеливал что-либо слямзить.

— Вы тут живёте? — спросил он, не переставая подозрительно озираться.

— А тебе чево? — набычился Серёга.

— Да так просто...

И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул её сперва Серёжке, потом всем остальным и каждому по-приятельски, со встряхиванием, пожал руку, называя при этом своё имя: «Ванюха», «Ванюха», «Ванюха»...

— А ты что, настоящий футболист? — примирительно спросил Махно. — Бобочка на тебе клубная... Или где-нибудь с верёвки сдёрнул?

Парень ничуть не обиделся на ехидный выпад Серёги, а только ещё больше и расположительней растянул губы в улыбку.

— А в чемоданчике, взаправду, буцы? — настырничал Махно. — Покажь! Никогда близко не видел!

— Да нет там ничего! — Ванюха переложил чемоданчик в другую руку. — Так, барахлишко всякое. А эту футболку я у одного спартаковца во Мценске за финяк махнул. Вместе с чемоданчиком.

— А Мценск — это чево?

— Город такой... Сначала Орёл будет, а потом уже Мценск. Это если отсюда ехать... А если сюда, то — наоборот, понял?

Серёга, конечно, ничего не понял, но согласно кивнул.

— Я там в детдоме жил, — пояснил Ванюха.

— Урка, что ли?

— Ну почему же — урка? — рассмеялся тот. — Я в прошлом году на конкурсе детских домов второе место по фаготу занял.

— А это чево?

— Фагот? Это такая деревянная дудка с клапанами. И с тростниковым язычком. Тросточкой называется. Когда дуешь — тросточка и телеблется, мозжит, значит. Получается звук. У фагота свой звук, фагатовый. Его ни с кем не спутаешь.



Ванюха поставил чемоданчик на землю и, зажав нос большим и указательным пальцами, нагундел мотивчик из «Лебединого озера». Звук получился глухой, гнусавый, будто возникший под ватной шапкой. Слышать это было забавно и неприлично, и все дружно рассмеялись.

— Чево, чево это? Как ты назвал?

— Так звучит фагот.

— А ну, Фагот, подуди-ка ещё! — развеселились пацаны. — Ловко получилось.

— Ну, я только показать, — уклонился Ванюха. — Фагот это тебе не бузиновая сопелка. Он может выдать сорок два звука — от си бемоль контроктавы до ми бемоль второй октавы. Во сколько!

— Ух ты! — просто так удивился Серёжка. — А мы думали: ты шпана. Тогда как же финяк? Что на футболку променял? Откуда он у тебя? Скажешь, нашёл...

— Да не-е. Мы их сами делали. Когда по слесарному занимались. Втихую от воспитателя. Столовым ножиком разживёмся, а ручку к нему из всякой всячины набираем: из старых телефонов, костяных гребешков. Алюминий за серебро сходил, если надрать. Ножики с наборными ручками хорошо шли, братва на курево зашибала. Или меняли на чего-нибудь.

С того момента, как Ванюха зажал нос и попытался показать, как звучит фагот, его почему-то больше не называли по имени, а тут же окрестили Фаготом, и тот, нисколько не противясь, легко принял это близкое и даже льстящее прозвище, каковые имел каждый. Ну, скажем, Серёга, за то, что с началом летних каникул напроць переставал стричься и к осени зарастал свалывшейся папахой, был обозван баткой Махно, чем оставался весьма доволен и горд.

— Слушай, Фагот, а ты к нам по какому делу?

— Хожу вот, мать ищу.

— Потерялась, что ли?

— Десять лет не виделись.

— Как это?

— Долго рассказывать.

— Ты что, из дома убежал?

— Да не, не так... Мы тогда в деревне жили. Тут, где-то недалеко. Не помню названия.

— Ну и чево?

— Ночью отца забрали и увезли куда-то. Потом добро наше вывезли: хлеб, скотину. Это мать мне рассказывала, когда мы по станциям куски собирали. С нами ещё двое пацанов было, братья мои. Как звали, тоже не помню. Меньший — совсем пелёночник, ещё грудь сосал. А грудь-то у матери — сморщенная кожа. Орал до посинения. Бывало, мать трясёт тряпичный свёрток, а сама тоже плачет. К тому времени я уже кое-чего кумекал: сам попросить мог, а то и стибрить чего на станции у бабульки: огурец, оладик картошешный. Небось, посчитав, что без неё я уже не пропаду, она выждала, когда поезд тронулся с места, подхватила меня под закрылки и запихнула в побежавший тамбур. «Прости, сыночек!» — услышал я вдогон её сорвавшийся выкрик. И вовек не забуду, как она, прижимая к груди спелёнутого братишку, другой рукой, щепотью крестила застучавшие колеса, будто посыпала их чем-то.

— А ты чево же? Взял бы да выпрыгнул...

— Ну да... Поезд уже вон как раскочегарился! Когда далеко отъехали, проводница нашла у меня за пазухой измятую бумажку. Мать моя не умела писать, кого-то попросила назвать в той бумажке мои имя, фамилию, год и месяц рождения. Должно,

заранее обдумала, что со мной сделать. Ведь у неё на руках ещё двое совсем ничёмных оглоедов осталось.

«А бумажку эту ты береги! — сказала тогда проводница. — Без бумажки ты никто, понял? Снимай-ка штаны, я к ним карман подошью. Там будешь её хранить».

В служебном купе она налила мне кипятку, дала кусок сахара и настоящую белую булку, а сама принялась метать карман, которого у меня дотоле не было: его заменяла побирушная сумка.

Во Мценске на вокзале проводница сдала меня дежурному по перрону, а тот переправил в тамошний приют. А когда вырос, принялся писать, запрашивать. И вот только теперь сообщили, где моя мать... Я и приехал...

Фагот достал из заднего кармана казённую открытку, сличил написанное в ней с обозначением на уличном фонаре.

— Все сходится! — ещё раз уверился он. — И улица, и номер дома. Значит, где-то тут она, матушка моя!

— А зовут-то её как?

— Катя! Катерина Евсевна!

Серёга растерянно заморгал.

— А фамилия какая?

— Да Чистикова она! Екатерина Чистикова.

— погоди, друг... — Серёга ещё больше раззявился смущённо. — Да я и сам Чистиков! Пацаны! Скажите ему, что и я Чистиков! И вот он, Миха, тоже... Который меньший, который после меня родился... Что же получается? — развёл руками Махно и обернулся на сотоварищей, будто ища у них какого-то последнего слова истины. — Выходит, ты — братан мой? А я — твой! Родня друг другу?

— Выходит, так! — Фагот радостно соглашался быть братом этому чумазому и до сих пор босому (октябрь на дворе!) забияке с багровым, рубленным шрамом на подбородке — прошлым летом он подкрадывался к залётному чужаку, сорвался вместе со ржавой водосточной трубой и ударился подбородком о край дождевой бочки. Потом месяц ничего не ел, кроме жиденькой каши.

— Ну, тогда давай ещё раз поздороваемся! При свидетелях! Ведь мы давеча хотели тебе морду набить. — Серёга ступил навстречу Фаготу. — А ты братаном оказался! Во дела! Миха, и ты давай приходи: он и тебе теперь свойский...

Тем моментом кто-то из пацанов стукнул в крайнее оконце надворного строения, где теперь обитали уцелевшие Чистиковы, и следом, будто заполошная курица, вылетела тётка Катя, то есть то, что оставила от неё лихая судьбина — маленькое, шупленькое существо в косом платочке, вся какая-то серенькая, ветошная от мелкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежды. Она ещё издали распахнула бесплечие ручки, будто готовясь повить вокруг нашедшегося сына, но вместо объятий упала перед Ванюхой на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в тихом бессловном плаче.

До появления Фагота никому из обитателей этого переполненного странноприимного дома не было ведомо, что у тётки Кати, тихой, покорной женщины, помимо двух мазуриков — Михи и Серёги — был где-то на стороне ещё и третий сын, которого она сама, своими руками придала безвестности и беспризору. Лишь в глубокой ночи, за сдвинутыми занавесками извлекала она со дна деревянного ларца бронзовый старообрядческий складенёк с житием Пресвятой Девы Марии и покаянно выкладывала заветному образу собственный грех, прося Матерь Божью уберечь, не дать загинуть большенькому отроку.

Младшие побродяжки, Серёга и Миха, оставшиеся при бездомной матери, убежились от мора тем, что в самую голодную добрые люди пожалели Катерину и взяли её в заводской детский садик истопницей и посудомойкой. Ей было дозволено для своих детей соскребать со стенок котлов пшённые пригарки. Кастрюльные сполоски Катерина тоже не выплёскивала зазря, а добавляла в них подзаборную крапиву, овражную сныть или шавелевые побежки. Иногда такой похлёбкой она потчевала и других пацанов своего подворья.

Постепенно петля повальной голодухи ослабила свою затяжку. К Польскому походу витрины магазинов повеселели от выбора конфет, печений, обсыпанных маком баранок и причудливо заплетённых хал. На перекрёстках открылись павильоны с мороженым, розовым морсом и сельтерской водой. Над уличными забегалками красовались намалёванные раки и пивные кружки, оплывшие кучерявой пеной. В табачных ларьках, ещё издали заманчиво пахнувших своим товаром, вновь появились дорогие коробчатые папиросы: «Казбек», «Ялта», «Наша марка», «Дерби» и «Герцеговина-Флор», вкус которых вездесущая пацанва уже извела по окуркам, подобранным возле изысканного тогда кинотеатра Щепкина. Видных посетителей он привлекал буфетом с фарфоровыми кувшинчиками ликёра «Кюрасо», симфоническими новинками, исполнявшимися в верхнем фойе и алым бархатом амфитеатра.

Фагот как-то быстро и непринуждённо, без всяких претензий втиснулся в свою новую жизнь, как будто всегда тут и был.

Десятиметровая комнатёнка, в которой ютилась Катерина с двумя ребятами, имела единственное оконце, выложенное в старинной метровой кладке, отчего подобила богоугодной обители. К тому же окно было заставлено по-зимнему двоянными рамами, умалявшими свет и не пропускавшими воздух. Проживать вчетвером в таких условиях сделалось тесновато. Но неисчерпаемая Катерина и тут нашла выход. Свою узенькую послушницкую кроватку она отдала старшенькому, а Махно и Миха, как и прежде, остались на топчанчике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней досчатый настильчик для спанья. Сама же перебралась в детское заведение, где на кухне у печной стеночки приспособила раскладушку. Проявляя понимание, заведующая садиком дооформила Катерину ещё и ночным сторожем, чтобы та могла ночевать на кухне с полным основанием, вопреки запретам общественного надзора.

Продолжать учење в школе Фагот не стал: не хотел снова школьного занудства, зубрёжек, вызовов к доске, контрольной писанины осточертевших ещё в режимном Мценске. Вместо школы он облюбовал себе Механический завод, что располагался неподалёку, сразу же за Пролетарским сквером. В отделе кадров его взяли без всяких препон, тем более когда узнали, что он прежде играл в духовом оркестре. Такие люди профкому были нужны, и Фагота зачислили учеником токаря-универсала с предложением приступить к своим обязанностям хоть завтра. Под изданный приказ его провели в бухгалтерии и неожиданно-негаданно тут же выдали четвертной — новыми, хрустящими пятёрочками.

Фагот, выйдя за проходную в приподнятом настроении, накупил домой гостинцев: шоколадных конфет «Южная ночь» в звёздной обёртке, белых мятных пряников, изображавших лошадок и петушков, засахаренных маковок в клетчатых плитках, два сорта «Микад» с клюквенным и абрикосовым вареньем, словом, постарался выбрать то, чего ни он, ни Катерина, ни братья никогда в жизни не ели вволю, от души. А самой матери в подарок высмотрел фельдиперсовые чулки. Катерина поделила гостинцы всем поровну и с радостной голубизной в глазах поставила во дворе

самоварчик. Чулки же, ужаснувшись их невесомой паутинности, тут же заперла в свой заветный ларец.

— Куда мне такие? — упрекнула она Фагота. — Только зря потратился. От ногтей сразу же изорвутся. Мне бы в резиночку. В самый раз. Вся таковская. А эти нехай лежат до окончания. Может, тади и нарядят к Господу явиться...

— Ты мне брось это! — повелительно осудил Фагот. — Сейчас и носи. Подумаешь, невидаль!

— Да куда ж мне носить-то? У печек да котлов шлендраться?

— А мы с тобой давай в Совкино ходим. Как раз «Волгу-Волгу» показывают.

— И не выдумывай даже!

В следующую получку Фагот уже щеголял в настоящих брюках с заутюженными стрелками и задним кармашком на пуговице. А заодно постригся. Правда, стричь ему было нечего, ещё не больноросло, даже парикмахерша развела руками. Но он, как все подростки, торопил своё время, спешил посолиднеть, покраше выглядеть и потому велел маленько поправить сзади, подрубить пейсики. Зато теперь от него шикарно пахло одеколоном. Пацаны завидовали этой его настырной взрослости. Серёга же Махно, бывший батька всей дворни, беспрекословно уступил Фаготу эту свою предводительскую должность и даже был готов передать ему в полное распоряжение голубятню и всех своих турманов, которых любовно подбирал и сколачивал в дружную, слетавшуюся стаю. Но Фагот резонно отказался от голубей:

— Это ж надо с утра шестом махать! А мне теперь, браток, к семи на завод.

Но самое ошеломительное произошло на другой день Ноябрьских праздников. Ошиваясь в Первомайском саду, гремевшем музыкой, полыхавшем кумачом, Серёга и Миха со приятелями нечаянно напоролись на Фагота. Он сидел под полосатым тентом летнего павильона за белым столиком в ловком сером куропатчатом пиджаке с красным бантиком над грудным карманом — весь какой-то не такой, не виданный прежде: праздничный, сияющий, разговорчивый. Но пацанов удивил не столько сам Фагот, ни даже настоящая, наполовину отпитая бутылка пива, пузырявшаяся воздушными кубиками, сколь сидевшая напротив него живая, настоящая девашка с жёлтой косой поверх голубого плащика. Совсем юная девашка сидела в профиль, у неё был маленький пупсиковый носик, который в момент улыбки то и дело прятался за округлую щеку. Вишенно-спелыми губами она с неторопливой праздничной усладой слизывала мороженое с вивой десертной ложечки.

Почти непрерывно играла музыка, перемежавшаяся с бодрими песнями, где-то неподалёку хлопало на ветру праздничное полотнище, и потому вовсе не было слышно, о чём весело и оживлённо разговаривал Фагот со своей подружкой. А так хотелось услышать хотя бы по одному словечку: что он сказал, что она ответила... Ведь никто из них ещё никогда в жизни по-человечески, по-взрослому не разговаривал с девчонками, тем более не сидел вот так рядом за белым столиком. От одного вида этого мраморного столика с пивом и вазочками с мороженым пронизывало чувство волнующего озноба, тем более — от позолоты девичьей косы.

Наконец Фагот своим оживлённым взглядом запнулся о всклокоченного Серёгу, тотчас погас лицом и приподнялся из-за столика, поднятой рукой давая понять своей спутнице, что он на минутку. Подойдя к пацанам, Фагот сунул руку за лацкан, извлёк зелёную трёшку и, вручив её Серёге, шипяще произнёс:

— А ну брысь отсюда! Подглядывать мне!

— Уж и поглядеть нельзя... — обиделся Серёга.

...В том году музыка играла в Первомайском саду в последний раз. Не успели прибраться после Октябрьских праздников: смотать лампочную иллюминацию,

собрать в кучи опавшие листья, как после сентябрьской мобилизации в городском воздухе снова повеяло тревогой. На этот раз палёным донесло с Карельского перешейка. Как объясняли тогда, белофинский барон Маннергейм отклонил нашу справедливую просьбу несколько отодвинуть общую границу на запад, с тем чтобы обезопасить от конфликтных случайностей многолюдный Ленинград. Маннергейму вежливо разъяснили, что такую подвижку надо сделать ещё и потому, что Ленинград почитается как колыбель Революции, в нём собраны бесценные реликвии: стоит легендарная «Аврора», на башне броневика возвышается вдохновитель всех наших свершений товарищ Ленин. Казалось, чего бы упрямить? Ведь всё убедительно, обоснованно. Тем более что не за так просят отодвинуться: не за здорово живёшь, а взамен предлагается хороший кусок в другом месте Карелии, гораздо больший, чем на перешейке. Но Маннергейм, паразит, начисто отказался говорить на эту тему. Даже третьеклашке было ясно, что Маннергеймка не прав и в школьных туалетах его поносили во все тяжкие, а в карикатурах у подлого барона выкальывали глаза. По-хорошему, следовало бы проучить этого прохвоста. Так и не поняв, с кем имеет дело, он сам вскоре напал на наших пограничников: обстрелял заставу из орудий... Кто ж такое потерпит? Мы и не потерпели.

Ночами по городу снова понесли повестки. На этот раз уже никого не возвращали из-за мобилизационного перебора.

Тем временем по школам прошла негласная кампания: мальчишек-старшеклассников по одному приглашали в кабинет, где за директорским столом сидел военный с голубыми петлицами авиатора. Он приветливо предлагал сесть, даже пододвигал папиросы, расспрашивал про учёбу и вдруг задавал вопрос, не желает ли приглашённый продолжить образование в авиационном училище, где будет всё так же, как и тут, лишь с добавлением некоторых технических дисциплин, но зато всем абитуриентам выдаётся лётное обмундирование и даже портупья, что, разумеется, весьма немаловажно для молодого человека. В заключение резидент в голубых петлицах просил подумать и никому не рассказывать об этом их разговоре.

Некоторые пацаны выходили из кабинета какие-то отсутствующие, никого не узнающие, будто уже парили в заоблачной голубизне. Нам, мелкоте, тоже хотелось в лётчики, но на тайные беседы нас не приглашали, поскольку семиклашки в сталинские соколы пока ещё не требовались.

И мы, никому не нужная школьная шантрапа, на большой перемене отправлялись во двор, где в глухом его конце, предавались игре в любимую стеночку по трюшнику за пядь: «выпядил» — твои три копейки, «недопядил» — трюшник с тебя.

Финская кампания предполагалась тоже быстрой и необременительной, подобно Польскому походу, из которого, почти ничего не потеряв, разве что самую малость, да и то от непредвиденных случаев, личной нерасторопности или несвежей пищи, войска вернулись бодрые и посвежевшие, с трофеями в заплечных мешках, подобранными по пути, иногда нелепыми и забавными, вроде утюга, беговых коньков, уже начатых школьных тетрадей или банки маринованных огурчиков, добытых со дна Буга, где они хранились вместо погреба.

Карельский же поход, напротив, из прогулочной кампании обернулся войной, нудной и малоуспешной.

Пока день за днём, неделя за неделей, — вот уж и новый девятьсот сороковой год на дворе, — добывалась та Карельская перемога, создавшая в местных аптеках нехватку бинтов и марли, город изрядно поутих и потускнел, будто сам потерял сколько-то своей крови. Сложился и умотал парусиновый «шапито» вместе со

своими шумными и дымными смертельными номерами. Многие месяцы собиравшую сотенную очередь «Волгу-Волгу», после которой каждый раз на улицу выплывала поголовно улыбающаяся толпа, заменили созвучной моменту пронзительной дзиганской трагедией «Мы из Кронштадта», пережив которую зритель замолчал и мрачно уходил в себя. С перекрёстков куда-то девались павильоны с выносными столиками, витрины магазинов тоже потускнели, сократили ассортимент, а отпуск масла, столовых жиров и суповых наборов снова вернули к упорядоченному регламенту. Опять появились очереди, в которых часто случались недовольные выкрики: «Не давайте по столько в одни руки! Куда смотрит милиция?» Иногда, озираясь, гневясь вполголоса, высказывали наболевшее: «Да что мы чикаемся с какой-то там Финляндией?! Ведь моська же! Всего четыре миллиона с детишками и старухами. Ну, врезали бы как следует! Проучили бы этого ихнего Маннергейма. А иначе опять до хлебных карточек доцеремонимся».

Через финские гранитные доты и надолбы наши войска перевалили только к весне сорокового, заплатив за это одоление почти триста тысяч... но, к сожалению, не рублей, а человеческих жизней... Хотя о таких несоразмерных потерях тогда не сообщалось, было стыдно признаваться в этом перед остальным миром, но и так, без признаний, было нетрудно догадаться, сколько стоит финский лёд и камень.

Вообще в том злопамятном сороковом мы не раз принимались ультимативно помахивать пороховницей. Едва вывели дивизии из-за поверженной линии Маннергейма, как тем же летом направили солдатские кирзачи в Прибалтику, где тамошние правители, заключив с нами договора о дружбе, сами же тем часом заигрывали с Германией. Сходили, освободили. Одновременно весьма удачно порешили вопрос и о румынской Бессарабии, присоединив её после долгого и незаконного пребывания за нашими пределами. А заодно протянули руку помощи и Северной Буковине.

Историки потом напишут: «Все эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам Советского государства». Вроде бы всё получалось. Фортуна благоволила нашим высоким замыслам.

В долгожданное, давно просчитанное утро Фагот спешил к проходной своего завода. Он проснулся в лёгком, приподнятом настроении, которое всегда сопутствует ожиданию каких-либо перемен. Бодрости прибавлял и морозный, хрусткий снежок, лёгший, должно быть, окончательно, до самой весны. Он выбелил Пролетарский скверик, который всякий раз охотно пересекал Фагот по пути на работу. Над бетонным кольцом фонтана снуло склонились засахарённые изморозью ивы. Оставшаяся на дне лужица неспущенной воды подёрнулась ледком оконной ясной, на котором кто-то, опередив его, уже успел оставить в лёгкой пороше следы мальчишеской пробежки.

Убелённые крыши окрестных домов, отражая зоревой свет, добавляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние. Ощущение светлой утренней чистоты и собственной лёгкости было столь велико, что Фагот, взойдя на ступени проходной, перед тем как открыть дверь, невольно, шаркающим движением, отёр подошвы своих ботинок.

В профкомовском зальчике, уже заполненном народом, на возвышении за долгим красным столом сидел Ван Ваныч — местком, он же председатель квалификационной комиссии, и сама комиссия — представитель из отдела кадров по профобучению Гвоздалёв, мастер цеха Ничевохин и Фаготов наставник дядя Лёша. Ван Ваныч вертел перед своими утолщёнными очками эту самую КС-16,

которую было поручено изготовить Фаготу в порядке экзаменационного задания. Такую же деталь уже всю точили несколько других токарей цеха, но Фагот имел с ней дело впервые. Для чего она предназначалась, он не знал, и даже наставник дядь Лёша, помогавший освоить рабочий чертёж, отвечал уклончиво и неопределённо: «Я и сам не в курсе...» И, понижая голос, будто говорил одному только Фаготу, приоткрывал самую малость: «Оборонный заказ! Так что ты, парень, старайся!»

Деталь оказалась не ахти какая, на первый взгляд — продолговатый фланец, но зато с двухступенчатой внутренней проточкой. В самом узком месте — всего полдюйма. Попыхтеть, конечно, пришлось. Две заготовки спортачил. Но потом ничего, получилось. А уже следующие пошли легко, даже приятно было добавлять подачу.

Фагота пригласили на помост. Он мазнул ладонью по непокорной макушке, и, весь в трепетном смущении, не вошёл на сцену как положено, по трём ступеням, а одним подскоком запрыгнул на помост перед самой комиссией.

В зале засмеялись.

От Ван Ваньча поделка перешла в руки кадровика Гвоздалёва, который даже взглянул через патрубок на свет в окошке. После мастера цеха деталь принял дядь Лёша, но рассматривать её не стал и первым высказался по существу вопроса:

— Ну, чево? Резцом парень владеет. Прогоны чистые. Точность — по нулям. Такая тут и не требуется. А он, вишь, постарался: довёл до классности. Я бы сделал не лучше...

— Владеет так владеет, — согласился Ван Ваньч. — Так и запишем. На третий разряд все согласны? Нам сейчас каждая пара рук дорога.

— Да чего там! Вполне заслуживает... По работе видно.

Ван Ваньч через стол вручил Фаготу свидетельство о присвоении ему разряда, крепко отечески пожал руку, и, когда тот, на ходу пряча заветную зеленокорую книжицу, собрался было спуститься в зал, председатель комиссии окликнул вдогон:

— Погоди, ещё не всё. На вот... Это — мера всей твоей жизни.

И вложил в ладонь Фагота новенький, ясно блеснувший штангель.

Потом, в коридоре, Ван Ваньч зазвал Фагота в свой кабинет и, обняв его за плечи, обдавая упаристым теплом подмышки, заговорил:

— А насчёт твоей дудки, про которую ты всё спрашиваешь... Гобой, кажись?

— Да нет, фагот.

— Ну, теперь все едино. Ты пока с этим не докучай. Не до свистелок нам теперь. Вишь, что в мире творится. Гитлер целую Францию заглотил. Кто знает, куда он дальше направится? Благо бы — на Англию. Там до неё совсем близко. А мы тем моментом подготовились бып, как следует изгородились... Хорошо, что успели Западную Украину с Белоруссией освободить. Вон ведь куда граница ушла! — Ван Ваньч ребром ладони широко махнул по сукну столешницы, показывая пареньку, как далеко отодвинулась граница. — А фагот тебе ещё будет: куда он денется?

Та большая война ворвалась внезапно и сокрушительно. Она враз опрокинула на своём пути все эти территориальные нагромождения, как пустые тарные коробки. Что и говорить, удар был ошеломляющий, будто рубанули между глаз свинцовым кистенём. У нашего буденно-ворошиловского командования мигом померкло в очах, зашумело под маршальскими папахами, так что от Чёрного до Балтийского моря дыбом встали роковые вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»

Уже через неделю танковые клинья Гудериана вышли к Днепру.

Но так бывает: даже смертельно опасную травму пострадавший воспринимает не сразу, а на первых порах не ощущает самой боли и пытается вести себя по-прежнему, будто с ним ничего не произошло.

Так и с целыми странами, особенно с такими обширными, как наша.

Нечто подобное произошло и с нашим городом. Даже суровое, проникновенное обращение Молотова не вывело людей из нежелания верить тому, что произошло. По крайней мере внешне многое ещё делалось так, как свершалось и день, и два, и неделю назад.

Как всегда, в привычном узнаваемом тембре прогудели заводские гудки; неподалёку, на Дзержинской, перезванивались трамваи с утренним рабочим людом; по прибазарным улицам скорым бежком торговли на коромыслах несли огородную снедь: вымытые бликующие огурчики, пучки перьяного лука, гроздья нежно-розовой, совсем юной редьки, штабельки перевязанного укропа, оставлявшего после себя долгий шлейф аромата.

Возле Троицкой церкви по давнему обычаю, поди с тех пор, как на крутояре возвысился этот храм, приходские пастухи, сменяя друг друга, подудывая на рожках, из века в век со смежных улиц скликали стадо. В это утро оно, сонно мычашее, поредевшее, изживаемое временем, под чирикание касаток, продолжало сходиться перед белой умолкшей звонницей...

Жизнь шла своим привычным чередом: ещё никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками.

Серёга проснулся в своём сарайчике, где под лестницей в голубятню он приладил себе полоч для сна. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Серёга зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего любимца по кличке Белое Перо, придержал в горсти концы его обоих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решётку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суетясь и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Серёгу за палец, но, доверясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздёргивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распушал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делавшее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Серёгу в счастливое изумление. Наличие белого пера в хвосте считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность.

— Ну что, покажем класс? — влюблённо сказал Серёга, прижимая головку птицы к своей щеке.

Середь двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запудил жоака строго над собой. Тот как мог дольше протянул свой бескрылый лёт и, когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко, азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним.

Оставшиеся на голубятне турмачи принялись было крутиться возле голубок, и Серёга поднял всех на крыло сначала шестом с тряпичным мотовилом, а потом и забористым свистом в два пальца. Стая, выстроившись полукружьем, начала набирать высоту, слаженно, в одном ритме взмахивая крыльями.

Заслышав свист, во двор набрели и остальные закопёрщики: Миха-братан, Николка и Петрик Трубаровы, двое с соседнего подворья и Пыхтя из дома через дорогу.

Ребята, наблюдая за голубями, разлеглись на кучерявой спорышевой муравке. Уже через полчаса стая дружно взмелькивала под самыми облаками, что порознь, белыми громадами, с лентой тянули к северу. Отсюда, с дворового пустыря, на белом лучше выделились темноперые турмачи, на синих просветах белокрылые птицы были заметнее.

Заспорили о погоде. Толстяк Пыхтя уверял, что такой денёк с просинью в облаках больше нравится голубям: летать не жарко, приглашенное солнце не слепит, не мешает среди множества крыш и дворов видеть свою голубятню.

— Ну да, сказал! — не согласился Серёга. — Наоборот, турман не любит летать под тучками. Всегда старается сбросить лишнюю высоту.

— А чего ему сбрасывать-то?

— Сапсана остерегается. Когда небо ясное, турману вокруг себя всё видно. Тогда он и летает в своё удовольствие. А за тучками сапсан может подобраться. От него летом не уйдёшь: только камнем вниз. Бывает, голубь вовремя не вырулит и на смерть бьётся о землю.

Ребята приумолкли: послышался отдалённый невнятный рокот.

— Гром, что ли? — предположил Пыхтя.

— Вроде не должно. Небо не грозовое. Если быть грозе — голубя с крыши не сгонишь, — авторитетно успокоил Серёга.

Рокот быстро нарастал. Уже улавливались его глуховатые перепады, и пока пацаны пытались определить, что это такое, из встрёпанного верховыми ветрами одинокого облака вдруг вырвался самолёт и несколько мгновений летел открыто, на виду у всего распростёршегося под ним города. Он летел чуть в стороне и не так высоко, не выше пятисот метров, как раз на уровне Серёгиной стаи, так что был чётко виден весь его прогонистый профиль.

От внезапности и явной чужести самолёта ребята вскочили с земли, и, хотя бомбардировщик виделся всего несколько секунд, прежде чем снова нырнуть во встречное облако, многим удалось разглядеть и запомнить его приметы. Был он странно окрашен в жёлтое и зелёное, что придавало ему сходство с летящей рептилией. Оба моторных капота были далеко выдвинуты вперёд, между ними помещалась лобастая и взгорбленная пилотская кабина, за сёклами которой кто-то из ребят даже разглядел будто бы самих лётчиков.

Вид у самолёта был какой-то устрашающий. Наверно, конструкторы заботились не только о том, чтобы он летал, но и о том, чтобы угнетал своим обликом всё живое, попавшее под узкие сапсаны крылья.

Но больше всего поразила и ужаснула главная его примета: на долгом фюзеляже, ближе к хвостовым рулям, отчётливо проступал чёрный крест, отороченный белым кантом. Нанизывая на себя облака, то исчезая в их рыхлой белизне, то снова выныривая на солнце, самолёт облетел всю городскую пристанционную округу, потом, сделав разворот, ещё раз промелькнул своим жёлтым ящерным брюхом в самый раз через то место, где всё ещё трепетала стая Серёгиных голубей. Он не строчил из пулемётов, не бросал бомбы, но и в него тоже не стреляли, не поднимали истребителей, которых, по правде, тогда на наших коровьих лугах ещё и не было из-за нехватки таковых или неглавности направления.

Чужак летал молча, безнаказанно вглядываясь в настужь распахнутое бытие города, его враждебное присутствие в небе, наверное, впервые дало всем видевшим эти чёрные кресты леденящее ощущение реальной и близкой войны.

В тот день из четырёх пар голубей домой вернулись только две. Турмачи опускались на конёк голубятни порознь. Последней была голубка Лыска, напарница Белого Пера. Она объявилась перед самым закатом, вся ещё перепуганная, недоверчиво озирающаяся. Когда Лыска уже потемну наконец переступила порог летка, Серёга не стал запирать голубятню, оставил планчатый рештак распахнутым. Но Белое Перо так и не вернулось — ни в этот вечер, ни с восходом нового дня...

В конце августа с той, военной стороны через город зачастили товарняки с демонтированным заводским добром. В тесовых обивках под брезентовыми пологами и просто под навалами древесных веток везли снятые с крепежа станки, целые узлы разобранных агрегатов, какие-то фермы, занимавшие сразу несколько платформ. Среди этого груза во всевозможных щелях и пустотах скопились беженцы, которых называли странным и трудно произносимым словом «эвакуированные». Из-за плохой проходимости дороги многие эшелоны опасно задерживались на запасных путях, и тогда «эвакуированные» разбрелись по станции и прилегающим улицам в поисках туалетов, кипятка и какой-либо еды. А возле недвижимого поезда соби­рался самопроизвольный базарчик, где местные бабульки и пацаны выменивали всяческие вещички на неказистую снедь. Особенно выгодно шла мена с беглыми евреями, пробиравшимися в глубь страны с многодетными семьями аж из самой Польши, из её восточных городков и местечек, оставленных нашими войсками.

Среди прочих беженцев они выделялись хорошо пошитой одеждой, но были изнурены дальней дорогой, суматохой пересадок, налётами вражеской авиации. Никто их специально не эвакуировал, не заносил в списки, не выделял мест в поездах: они были сами по себе. У них всегда можно было разжиться чем-либо из заманчивого польского шмутья и обихода. Пацаны чаще всего выменивали непривычное заграничное курево. Особенно в ходу были длинные табачные палочки с коротким мундштучком под названием «Фемина», на коробке изображалась огненная красotka с папироской в слепяще белых зубах. Петрик разжился перочинным ножичком со множеством причиндалов, а Пыхтя на ведро ночью выкопанной чужой картошки выменял, например, шикар­но хлопающий портсигар с оттиском на крышке какого-то позолоченного лысого дядьки, в котором Фагот предположил Папу Римского.

Вскоре, однако, поток беженцев внезапно прекратился, будто у этого потока где-то перекрыли вентиль. Это означало, что долго и беззастенно обороняющийся Киев всё-таки пал... От раненых бойцов, успевших вырваться из киевского окружения, пошли слухи, будто впереди теперь нет никакого фронта и что в нашей обороне образовалась дыра километров на двести, куда вот-вот устремятся фашистские танки.

Становилось ясно, что надвигалась неотвратимая драма в судьбе нашего незащищённого города. И коли не было штыков — он ошетинился лопатами. Они звякали и засверкали возле школ, у дверей учреждений и заводских ворот. За город, на окрестные холмы и высоты, двинулись сотенные колонны оборонокопателей. Кроме лопат рекомендовалось также запастись носилки для перемещения грунта, кирпичи для рыхления слежалых глин и корчёвки древесных корней, вёдра для приготовления горячей пищи, клеёнки от непогоды, а главное — бодрость духа и веру в окончательную победу.

Одновременно сколачивались отряды гражданского ополчения. Фагота зачислили в истребительный отряд из двенадцати человек во главе с присланным выздоравливающим младшим лейтенантам Зайнуллиным. Он все ещё припадал на раненую ногу, но за командование отделением взялся неотложно и с бодрой требовательностью. В обязанности отряду вменялось охранять производственную территорию,

выслеживать лазутчиков и диверсантов, а также привести в действие взрывные устройства под заводскими объектами, о которых пока никто не должен знать.

По вечерам отряд собирали в сквере для прохождения боевой подготовки. После построения и списочной переклички Зайнуллин попарно направлял отряд по внутреннему периметру сквера, после чего принимался за боевые приёмы, заставляя курсантов деревянной винтовкой, вытесанной в заводской столярке, колоть мешок с соломой или же бросать на дальность и точность металлическую болванку. Настоящее оружие выдавать не спешили, как объяснил Зайнуллин, до особого распоряжения.

— Будет надо, тогда и дадут.

— А если и взаправду — диверсант? — дознавался Фагот. — А у меня — сосновая деревяшка?

— Разговорчики! — оборвал младший лейтенант. — Ты сперва этой научись, понимаешь. — Оружие, может, в другом месте нужнее. Столицу, понимаешь, надо защищать...

Винтовки всё-таки в отряд привезли. Зайнуллин распределил их поимённо: против каждой фамилии проставил номер оружия и дал расписаться. Фаготу и ещё одному пацану из литейки, Федьке Чухову, расписаться не дали, потому что в ящике оказалось всего десять винтовок, а бойцов в отряде было двенадцать.

— А мы как же? — обиделся за двоих Фагот.

— Что ты, понимаешь, всё качаешь!? — вспылil Зайнуллин. — Ну нету, нету пока. Поступят — и вы получите. Это тебе не дров напилить... Давай, я одну винтовку на вас двоих запишу?

— Не надо! — отказался Фагот. — Я свою хочу.

— Ну, тогда жди.

После этого разговора с Зайнуллиным обиженный Фагот перестал ночевать дома, коротая глухую темень в цеху на ворохе обтирочного тряпья. Он выжидал, пока все разойдутся, а вахтёры запрут проходную на засов, запускал свой бесшумный токарный станок и, посвечивая себе притенённой переноской, принимался мастерить задуманное. Сперва он пытался изготовить обрез под винтовочный патрон. Но эта штукавина требовала сложной фрезеровки, а старик-фрезеровщик, закончив смену, запылил инструмент в значной печурке, открыть которую Фагот не сумел, хотя и перепробовал всякие исхитренные отмычки. А просить Кузьмича выстрогать ему заготовку затвора, которую он потом напильником довёл бы до ума, так и не решился: побоялся, что Кузьмич станет допытываться: пошто да к чему, а дознавшись, ехидно высмеет его затею. Он умел так сошуриться, так покачать головой в замасленной камилавке, так потрогать лоб заказчика, что сразу убеждал в напрасности и никчёмности замысла. Вместо неполучившейся Фагот из полудюймового гаечного прута вырезал новую ствольную заготовку, оставив нетронутыми все шесть граней. Так гляделось внушительней и убойней. Долгим наварным сверлом он прошёл в гранёном отрезке ствольный семимиллиметровый канал, но не насквозь, а в конце оставил хороший надёжный цеяк. У дна просверлённого хода, там, где начиналась торцевая заглушка, он надфелеком пропилил запальник, после чего тонко заправленным пробойничком протюкал в этом месте пороховой ход. Оставалось вытесать деревянное цевьё, что он и сделал из круто изогнутого кленового корневища.

Получился отличный самопал, походивший на старинную пистоллю.

Грянула первая военная осень. Октябрь пришёл без милостей, без золотого листопада. По необрунным полям с остатками колхозной техники едкий сиверко

кувыркал бесприютные жухлые листья. Сеялся непроглядный и нещадный дождь, обративший сельские немощёные дороги в безысходную погибель.

Наступать стало немцу в убыток, но и нам обороняться — тоже не доход. Однако немцу поделом: он позарился на чужое, а вокруг нас всё нашенское, святое.

В траншеях и противотанковых рвах, опоясавших дальние и ближние подступы, почти без сна и роздыха под вражескими налётами выкопанных, высеченных и вырубленных в иссохших глинах и обнажённых мергелях тысячными усилиями горожан, теперь, с ненастьем хлюпала мутная жижа и начали оседать и рушиться насыревшие стенки накопанного. Но регулярные войска что-то не спешили занимать приготовленные для них оборонительные рубежи. Лишь разрозненные ватажки ополченцев, которые потом назовут полками, перемогались под дождём в окопных канавах с одними только винтовками и зажигательными бутылками да ещё, может, двумя-тремя станкачами. Их самоотверженную отвагу не собиралась поддерживать армейская артиллерия, которой почему-то вовсе не оказалось в распоряжении гарнизонного начальника. Ну, а как же обороняться без артиллерии? Не одними же винтовочными пшикалками да огородными лопатами?!

...А враг тем временем приближался. Уже был взят город Льгов, что всего в полутора часах езды на машине. Несмотря на осенние хляби, опоясывая полукружием, будто заводя огромный невод, в нашу сторону двигался 48-й танковый корпус, поддержанный дивизиями 34-го армейского кулака, а на Фатеж, что вообще в пятидесяти верстах, нацелилась 9-я танковая дивизия.

У озябших, промокших ополченцев оставалась надежда на 13-ю армию, которая, будучи сама в окружении, вела ожесточённые бои совсем близко от Курска — в соседних Брянских лесах. Верилось, что ещё одно усилие, и она наконец вырвется на свободу. Но уповали на неё напрасно. Из свидетельства члена Военного совета армии генерала Козлова: «После неимоверно трудного марша в условиях холодной осени промокшие, истощённые от недоедания, ведя бои днём и ночью, причём далеко не всегда ясно представляя, где находится противник — впереди, справа или слева, воины 13-й армии... вышли... из окружения в составе 10 тысяч человек». Уцелевший отряд был лишён техники, транспорта, боезапаса и продовольствия.

«После всестороннего анализа сложившейся обстановки (нескончаемый дождь со снегом, непроходимое бездорожье, полное отсутствие горючего, налёты авиации, вылазки противника), — вспоминает далее генерал Козлов, — Военный совет армии 17 октября принял трудное для себя решение: уничтожить автотранспорт и другое имущество, сковывавшее манёвры армейских подразделений. Моторы автомобилей простреливались бронебойными пулями, а сами машины пускались под откос в глубокий овраг. Артиллеристы гаубичного полка, выпустив все снаряды по скоплению противника, последним выстрелом приводили орудия в негодность, в канал ствола насыпая песок».

В таком виде армия заняла рубеж Фатеж — Макаровка, выполнив свою главную задачу: вырваться из лап фашистов. Но оказать помощь Курску она уже не могла и сама нуждалась в пополнении, техническом обеспечении и просто физическом и моральном восстановлении.

Вместо неё на курские рубежи направили 2-ю гвардейскую дивизию, которая сама только что с большими потерями вырвалась из окружения и, следовательно, не имела полного личного состава и необходимого вооружения. Ею просто жертвовали, бросая на растерзание во много раз превосходящему противнику.

Судьба этой дивизии, как и самого города, была решена в пятиминутном телефонном разговоре Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина с первым секретарём Курского обкома партии П. И. Дорониным:

Доронин: — Обстановка под Курском тревожная. По данным разведки, на город наступают три фашистские дивизии. Оборону Курска ведут вторая гвардейская дивизия и бойцы народного ополчения, вооружённые в основном стрелковым оружием.

(Доронин умолчал, что не каждый ополченец имел винтовку, а многие вышли за город с охотничьими ружьями и бутылками с горючей смесью. Вторая же гвардейская «дивизия» тоже выступила налегке без миномётов и артиллерии, которых у неё попросту не было).

Сталин: — Под Москвой тоже сложилась исключительно тяжёлая обстановка. Необходимо, товарищ Доронин, усилить сопротивление врагу, укрепить полки второй гвардейской дивизии за счёт коммунистов и комсомольцев. Силами народного ополчения необходимо прикрыть отход дивизий Красной Армии на новые боевые рубежи.

На другой день приказ Главнокомандующего не тратить боеспособные войска на защиту Курска был действительно получен по секретной связи, и в ночь на 27 октября, то есть за пять дней до появления противника у городских стен, части гарнизона покинули места своего расположения. Вместе с ними оставило город и перебралось пока в авиагородок и все областное руководство, прихватив с собой работников кухни и буфета: не сидеть же у костра и не варить в ведёрке гороховый похлебанец!..

Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда, было отдано ещё одно страшное распоряжение: город поджечь, все стратегически важное взорвать! Но рубежей не покидать, а продолжать до последнего противостоять немецкому наступлению.

И взрывники принялись за работу.

Умерщвление города во многом похоже на насильственную многострадальную смерть человека. Тут и там в небо вскидывались пыльные кирпичные выбросы. От ударных волн, льдисто звеня, сыпались и разлетались оконные стёкла. Рухнули в воду искорёженные фермы и опоры железнодорожных и шоссеиных мостов. Потрясали землю и воздух тротиловые закладки под силовыми установками, трансформаторами и столбами электропередач. Взлетевший на воздух соляной склад на улице Радищева запылил солью дворы и крыши окружавших его домов. В центре занялись полымем служебные здания и магазины, гудящий огонь выедал до кирпича мудрые кабинеты горкома ВКП(б). Дымные мебельные языки пламени, роняя на мостовую хлопья полыхающих штор гостиничных номеров, где некогда останавливались Горький и Маяковский, вырывались из карминно раскалённых и потрескавшихся рам наружу и жадно объедали ветви близких лип и вязов. К гигантскому всеобщему костру присоединились пожары на мельницах и крупорушках, на фабриках и лесных биржах, на больших и малых складах и продовольственных базах. Было облито керосином и подожжено зерно на многокорпусном хлебном элеваторе. Особенно зловеще и смрадно, застыя полнеба округлыми клубами, полыхала нефтебаза, время от времени выфыркивая из этих чёрных клубов багровые вспышки взрывающихся газов. Смешавшееся воедино общее полотнище дыма тяжело пласталось над сирой осенней землёй на многие километры за горизонт, укрывая собой уходящие на восток войска и навьюченные вереницы машин, покинувших авиагородок... Каждый день в дымном небе появлялся наш Су-2, одномоторный

бомбач, он же разведчик. Самолётик туда-сюда пролетал над городом, видимо, наблюдал и фиксировал на плёнку, что и где горит и хорошо ли занялось.

Осада города началась вовсе не так, как представлялось пацанам, уличным гаврошам, которые уже изготовились к многодневному планомерному обстрелу из орудий и миномётов, свирепым налётам пикировщиков, перемежавшихся с волнами атакующих пехотных цепей. Всё оказалось как-то буднично и неинтересно.

В этот день Фагот вместе с несколькими членами отряда заводской обороны продолжали демонтировать и приводить в негодность оборудование цехов. Посередине двора горел большой костёр, куда бросали папки с чертежами многолетних заказов, снятые со станков электромоторы, бухты запасной высоковольтной проводки, пластмассовые переключатели, промасленную обтирку, чтобы костёр не гас, не ленился трудиться. Пламя каждый раз меняло свою окраску, в зависимости от того, что в него было брошено. Дым то серел и шипел от чего-то малогорючего, то начинал закручиваться в бурые завихрения. Из столовой уборщица баба Паша припёрла целый столб вложенных одна в другую алюминиевых мисок. Она собиралась было бросить их тоже в огонь, чтобы оплавилась и пришла в негодность, но ей не дали это сделать, чтобы не замедлять горение, а вручили лом, которым она принялась долбать посудыны, азартно приговаривая, должно быть, адресуясь к вражеским солдатам: «Вот вам! Вот вам! Нате, ешьте теперя!..»

Заводской дым смешивался с уличными дымами, было тяжело дышать, слезились глаза, першило в горле, и Фагот время от времени выбегал за ворота, чтобы отдышаться и одновременно послушать, что делалось там, на передовой. Но за воротами было так же дымно и непроглядно, особенно от пожаров на близкой городской товарной станции, питавшейся специальной железнодорожной веткой. Со стороны московских шпилей и Казацкой слободы доносились нестройные, разрозненные, как бы лишённые злобы, винтовочные хлопки, которые потом надолго затихали, и было не понять, кто куда стрелял и кто куда девался.

Помимо территориальной обороны, куда входил Фагот, на заводе сколотили ещё и ополченческий отряд, комиссарить в котором райком назначил кадровика по фэзэошке Гвоздалёва. У Зайнуллина закончился срок пребывания на излечении, и его тоже куда-то забрали, а руководство дворовым отрядом передали дядь Лёше, недавнему Фаготу наставнику.

Отряд Гвоздалёва, состоявший из восемнадцати добровольцев, занял оборону на северной окраине, где-то возле трепельного посёлка, и теперь оставшиеся тут волновались и переживали: «Как там наши?!»

Но уже под вечер Гвоздалёв неожиданно объявился в заводском дворе. На его груди, на шейной петле висела забинтованная рука с алым подтёком выше кисти. Но сам он по виду нисколько не унывал и находился в приподнятом и даже в каком-то радостном возбуждении.

— А-а, пустяк! — усмехнулся он, когда баба Паша, глядя на повязку, принялась сердобольно квохтать и страшиться глазами. — Малость зацепило! Зато мы ему дали как следует! Век будет помнить!

— Ты, голубь, присядь, отдохни! — тоже радостно засуетилась баба Паша, пододвигая к кострищу резной дубовый главбуховский стул, вынесенный на сожжение. — Небось, от самого трепельного пешком шёл?

— А на чём же? Трамваи уже не ходят.

— Тади садись, рассказывай, как и что было. Какие они хоть, немцы эти? Больно страховитые?

— Да обыкновенные, бить можно.

— И как же вы?

— Ну, притопываем себе в окопчиках. Холодновато, конечно. С самого вечера ждём незваных. Огня, как тут у вас, не распалишь: передовая. Часу в восьмом раз-виднелось. Глядим: на шоссе мотоциклы с колясками тыркают. Штук пять, а то и больше: не очень было видать. И все немцами облеплены. Поставили мотоциклы под деревья, а сами рассыпались цепочкой и — к нам, сюда на посёлок. У каждого на шее автомат, на голове каска: лиц не видать. Идут, негромко переговариваются. Офицер молча делает рукой какие-то знаки.

— Страхи-то какие! — баба Паша обжала щеки ладошками.

— Кто-то из наших возьми и пальни. Другие тоже начали стрелять. Надо было подпустить поближе. А они не утерпели... Первый раз воюют.

— Дак и ты впервой!

— Я тоже.. Но я хоть «звёздочку» в лагере водил.. А всё равно, удачно получилось, немцы залегли, а потом вскочили и бежать. Один захромал. Посели на свои мотоциклы и драпанули с шоссе куда-то направо. Наверно, поехали искать, где место послабее. Наши аж «ура» закричали: так мы им врзали!

— А тебя как же поранило-то?

— Да это с мотоцикла из пулемёта прострочили, вроде как на прощанье. Меня вот в руку, а одного нашего насовсем. Васина из литейки.

— Олечку? — ужаснулась баба Паша и опять обжала щеки ладошками.

— Ну, он, он. Обещался родным сообщить. Пойду вот схожу. Решили там и похоронить.

— Да уж на кладбище бы, по-хорошему!

— Тоже скажешь: до Никитского вон сколько! Как понесёшь? Это же гроб надо! Да человек восемь с передовой снимать, чтоб наперемени нести. А теперь каждый человек на счету: вдруг опять полезут? Дак они и полезли! После обеда на шоссе танки показались. Штук десять. Хорошо, что с насыпи свернули, видать, пошли на Знаменку. Мы потом в той стороне сильный бой слышали. Конечно, тоже не прошли, наверняка понюхали кукиш.

Гвоздалёв здоровой рукой достал из-за пазухи вчетверо сложенную бумагу.

— Nate вот, почитайте... Совсем свежая. Нарочный оттуда принёс...

Это оказался «Боевой листок» за первое ноября, написанный от руки на типографской заготовке. Листок взял дядя Лёша и, морщась от дыма, стал читать всем:

— «Отважно сражался истребитель танков Дзержинского полка комсомолец Вячеслав Звягинцев. Он погиб, но не пропустил на своём участке танков».

— Гляди-ко! Молодец-то какой! — похвалила баба Паша и тут же пожалела: — А погиб пошто?

— Погиб — зато не пропустил! — разъянил Гвоздалёв. — Теперь это важнее всего.

— Погиб — стало быть, пропустил... — жёстко возразил дядя Лёша и вернул листовку Гвоздалёву.

— А вот, Андреич, ответь мне старой по всей правде, — допытывалась баба Паша, пытаясь заглянуть в глаза Гвоздалёву.

— Чего говорить-то? — насторожился тот.

— Удержите немца али побегите? Скажи как на духу...

— Да ты что? — снова расслабился лицом Гвоздалёв и даже облегчённо заулыбался. — Ну ты, баб Паша, даёшь! Такое говоришь! Честное слово...

— А чево?

— Так и думать-то нельзя! Как это — побегите? Какое мы имеем право?

— Ежли про это и думать нельзя, то пошто всё палите да взрываете?

— А чтоб им не досталось!
— А тади опять — пошто горелое да порушенное защищаете? Вон хлеб керосином облили и подожгли. Стало быть, оставаться не собираетесь.
— Таков закон войны. Чтоб врага не кормить. Иначе нельзя.
— А народ чево есть будет? А дети малые?
— По закону войны народ перед лицом нашествия уходить обязан. Ибо сказано: кто не с нами, тот наш враг.

— Куда ж мне за вами бежать: у меня и ноги-то в ботинки не лезут...
— Да не ерпенься ты! — посоветовал Гвоздалёв. — И не болтай лишнего...
— Чего уж тут лишку? Вон народ всё тащит. На кожзаводе мокрые вонючие кожи — на драку, на взорванном соляном складе солёную землю, солёную щёбёнку нарасхват... Стало быть, больше не верят писанному да говоренному. А я, дура, всё сижу, всё на что-то надеюсь... Надо хоть этот стул домой снести: буду помнить Ефремыча, как мы у него на облигации подписывались.

— А насчёт немца — не пустим! Не пустим! — Гвоздалёв примирительно и весело похлопал по бабыпашиной спине. — Когда шёл сюда — центральная улица вся в баррикадах! Люди ничего не жалеют для этого...

Завод не работал: расплавленно не светился окнами в ночи, знакомым, с бархатной хрипотцой, каким-то фаготовым голосом не звал к станкам — молчал и не дышал уже несколько дней, с той поры как сделала свой последний выдох котельная, демонтировали и куда-то увезли силовые трансформаторы. Тогда же вывесили приказ о роспуске коллектива, за исключением охраны, из которой несколько человек отдали в ополчение. Фагот тоже порывался, но его оставили в заводском охранном наряде поскольку он, к огорчению, так и не получил своей винтовки.

В конце приказа крупно, заглавно было напечатано на машинке: «Спасибо за работу, товарищи!» Каждому, в последний раз переступавшему порог проходной, давняя, потомственная вахтёрша Афанасьевна возвращала личный жестяной номерок — на память, чем окончательно ввергала людей в щемящее чувство. Некоторые пускались обнимать Афанасьевну, осыпать прощальными поцелуями, задавая почти один и тот же вопрос, будто вахтёрша заведомо знала, что ответить:

— Неужто больше не вернёмся?..

Женщины из цехов, а больше из отделов управления уносили с собой оконные цветы. Не чужа беды, зелёные любимцы продолжали цвести как ни в чем не бывало, особенно доверчивые гераньки, источавшие свой уютный, примиряющий запах.

Но и после приказа в цехах и на территории вроде ненароком всё ещё появлялись люди, наверное, из тех, кто не сумел сразу отбросить напрочь привычное. Многие помогали строить баррикаду, прикрывавшую подступ к проходной со стороны тыльной улицы Карла Либкнехта, название которой кто-то тайно вымарал на всех домах.

В основу баррикады легло спиленное на углу дерево. Его растопыренные ветви принялись забрасывать всяким заводским хламом: порожней тарой, карбидными бочками, кухонными столами и столовскими табуретками, в литейке разобрали торцовый пол, наковыряли толстых кряжей и на тачке свезли в ту же кучу, туда же бросили и самоё тачку. Всё это засыпали токарной стружкой, которой порядком накопилось на заводском задворье. Получилось что надо: высоко и внушительно.

— Ну, наварнакали! — оценил наведавшийся старый фрезеровщик Кузьмич, за всегда зривший против шерсти. — Что твой торт!

— А чего не по-твоemu? — поинтересовался Ван Ваныч — местком, тоже оказавшийся здесь якобы по делу.

— Эта ваша городьба ни одной пули не задержит. Потому как внутри пустая. А надо бы класть мешки с песочком.

— Да где ж мешки взять-то? — Ван Ваныч запачканной рукой поддёрнул разношенные очки. — Да и песок тоже?

— Тогда нечего и затеваться...

— Ну как же — была разрядка...

— Разрядка... — ехидно усмехнулся Кузьмич.

— Ладно тебе, — как всегда и всех, примирительно похлопал Кузьмича по плечу Ван Ваныч. — И так сойдёт. Немец с ходу не перелезет — тоже дай сюда.

— А ты чего тут? — поинтересовался Кузьмич. — Всё руководить тянет? Ещё не наводился руками? Твои приятели-рукомахатели уже, небось, за Щигры утрежали?

— Ещё успею...

— А то гляди, попадётся, карась, в ихнюю вершу — не поздоровится. За Дальними парками уже стреляют...

— Да вот вспомнил: в кабинете карту с флажками забыл снять.

— Места последних боев проставлял?

— Было интересно, где и что. А теперь не надо, чтоб карта осталась висеть. Да ещё с флажками...

— Ну ещё бы: такой позорище! Флажки-то в нашу кровь мокнутые!

— Хотел позвонить, да забыл, что телефон больше не работает. Пришлось самому... А ты по какому делу?

— Я, Ваня, не по бумажной надобности. Парок-то из котлов выпустили, манометры свинтили, водомеры побили, а про гудок забыли. Пойду, думаю, сниму. Не хочу, чтоб немцу достался. Вот не хочу — и всё! Конечно, можно и его сничтожить: молотком по свистку жажнул и делу конец. А не могу я так — как по-живому. Я по этому гудку полжизни деньки считал... Вот ключи взял, пойду свинчу да заберу домы. А вдруг опять понадобится?..

Ночью, пока окрест было тихо, Фагот отпросился сбегать домой, на всякий случай попрощаться с матерью: не исключалось, что вот-вот и его охранный отряд вступит в бой. Катерина бессловесно всплеснула руками, когда он появился на пороге незапертой двери в свете тоскливо мерцавшего ночника. Она ткнулась лицом в его телогрейку и только теперь подала свой тихий, на краю шелеста, голос:

— Дымом пахнешь...

— Да вот, палим... А где братья?

— Те всё по городу шарятся. Вчера Серёга где-то полмешка проса раздобыл: голубей кормить. Говорю: будет ли тебе с голубями возжаться — война кругом. А он, упрямец: голубям тоже есть надо. Они в войне не виноваты... У нас тут наверху дедушка живёт, без одной ноги. Сам-то он на землю не спускается, потому, может, ты его ни разу и не видел. Он всё больше в окно глядит. А зиму, от Покрова до Пасхи, сидит взаперти. Так у этого дедушки есть самодельная коляска на четырёх катках. Серёга выпросил эту каталку и вот, как смерклося, укатил с ней куда-то... Говорил, будто на швейной фабрике народ машинки курочит, дескать, если успеет, то он одну привезёт... А Михаил — тот себе шарится: вчерась картузом рокса разжился. Может, помнишь такие конфетки: рисунок насквозь виден. Где ни откусишь — там опять эта ж картинка: грибок или вишенка... А ещё карманы конфетных обёрток набрал: теперь из них фангики заламывает — с ребятами в кон играть. Так, ветер в голове... А вот не удержишь! Все на чужом помешались. Пусть бы одни дети по недомыслию, а то и взрослые туда же: магазины бьют, аптеки растаскивают, пуговицы и те сумками волокут... А кто запретит, кто остановит натуру, дорвавшуюся до греха?! Властей

нетути, милиция разбежалась. Серёга говорит, будто по Дзержинской ветер вместе с конторскими бумажками трояки да пятёрки носит... Люди гоняются, друг у друга отнимают... А у меня вся душа выболела: где их, непутёвых, носит... Дак за чужое и подстрелить могут...

— Ладно, мать, отыщутся. Есть захочется — прибегут.

— Ты, может, тоже поешь? Я борщичка наварила.

— Да некогда мне! — Фагот озабоченно взглянул на ходики.

— Я моментом! — засуетилась Катерина возле примуса. — Там у вас теперь и во-все ни крохи. Вон как обрезался.

— Да пока обходимся. Муки разжились. Лепёшки печём, чай кипятим.

Катерина налила тарелку горячих щей, возле положила ложку и несколько варёных картофелин — вместо хлеба.

— А-а! — не устояв, крикнул Фагот и, сбросив телогрейку, подсел к манящему вареву.

Щи, несмотря на их жаркость, он выхлебал с поспешностью бродяги. Катерина не дала ему отодвинуть тарелку и подлила ещё. И пока он вычерпывал добавку, она, созерцая торопливую еду, тихо радовалась этой его жадности.

Собиралась налить ещё и чаю, но он, отстранив тарелку, сложил руки на краю стола и хмельно, отрешённо, уронил на них голову. Катерина хотела было перенести сына на топчан, даже просунула руки под мышки, но поднять не смогла, а только нащупала на крестце под рубахой что-то жёсткое, непривычное. Она бережно высвободила из-за его пояса незнакомый предмет и, поднеся его к ночнику, поняла, что это что-то военное, стреляющее.

...Фагот очнулся, когда за окном начало сереть.

— Что ж это я? — испугался он и, увидев на столе самопал, торопливо спрятал его под рубаху. Потом схватил коробок спичек, потряс им возле уха и сунул в карман.

— Ты же не куришь... — заметила Катерина.

— Скажи братанам, пусть не проса, а спичек побольше раздобудут...

И, торопливо застёгивая ватник, заговорил:

— Слушай мать. Сегодня вечером от заводских ворот машина пойдёт с теми, кто хочет уехать. Может, и ты надумаешь? Вещичек у тебя почти никаких. Соберись по-быстрому. Ребята пусть помогут.

— Нет, Ваня, — вздохнула Катерина. — Хватит с меня: наездилась, находилась. Сам всё знаешь. Вот, есть у меня в белый свет единственное окошко — других уже не хочу. Нету на это сил. А ты, сынок, ступай! Я тебе уже не подмога. Всё теперь будет без меня. Отныне у тебя одна мать — Матерь Божья. Надейся, Ваня, на неё.

— Ну, тогда я побежал! — Фагот неловко, полусогнуто ткнулся губами в Катерину запавшую щеку. — Меня, наверно, ищут уже...

Он бежал по улице, почти не воспринимая ни знакомых домов, ни самой местности с цветущими газонами, покинутыми табачными и газетными будками, опрокинутыми уличными скамьями и мусорными тумбами. Иногда возле магазинов и прежних закусовых под ногами хрустело битое витринное стекло...

Он бежал, и, будто почтовый голубь, неосознанно чувствовал лишь одно направление своего бега.

В той стороне, где находился завод, шла беспорядочная стрельба. Среди поредевших винтовочных хлопков всё чаще слышались короткие всхрапы автоматов, как если бы вспарывали серую рассветную наволочь. Время от времени в хмурое предзимье, прослоённое дымами затухающих пожаров, вскидывались красные и зелёные ракеты, наполняя вислое небо и мрачные после ночи окрестности обманной

красивостью блуждающих всполохов. Фагот тогда ещё не знал, не мог знать, что на языке сражений зелёные траектории указывают, куда следует двигаться, красные — на неожиданные препятствия, на очаги сопротивления. Фагот только про себя отметил, что зелёных раket было больше, чем красных.

Ближе к Пролетарской площади навстречу Фаготу всё чаще стали попадаться куда-то спешащие, озирающиеся мужчины. Некоторые из них, должно, чтобы избежать от сквозной уличной прямизны, торкались в запертые подъезды и калитки, растворялись в неразберихе проходных дворов. На аптечном углу наспех перевязанный прямо по всклокоченным волосам встречно бегущий человек озлобленно выкрикнул:

— Куда, дурак?! Там же немцы! Всем велено отходить...

«Где — там же?» — не понял Фагот, и, не успев уточнить «где именно», ответно ещё пуще прибавил бегу и тут же очутился между двух тускло мерцавших рельсов на главной трамвайной улице.

Ниже, в нескольких шагах, на рельсовом спуске, под висячим знаком трамвайной остановки навзничь лежал убитый с насторону разбросанными руками. Живот его в голубой рубашке круто возвышался меж распахнутых пол пиджака, а на сизой картошине носа меркло светились толстые близорукие очки, и Фаготу почудилось, будто это был Ван Ваньч-местком. При виде убитого он невольно пригнулся и поднырнул под нависшую крону плакучей ивы. Перебегая от дерева к дереву в Пролетарском сквере, он испытывал гнетущее чувство от того, что опаздывает куда-то или уже опоздал вовсе.

Он собрался было прошмыгнуть к близкой баррикаде и за ней укрыться, но та была разметена на два вороха, с проездом посередине. Под разбросанным баррикадным мусором виднелись ещё двое, не то убитых, не то раздавленных гусеницами.

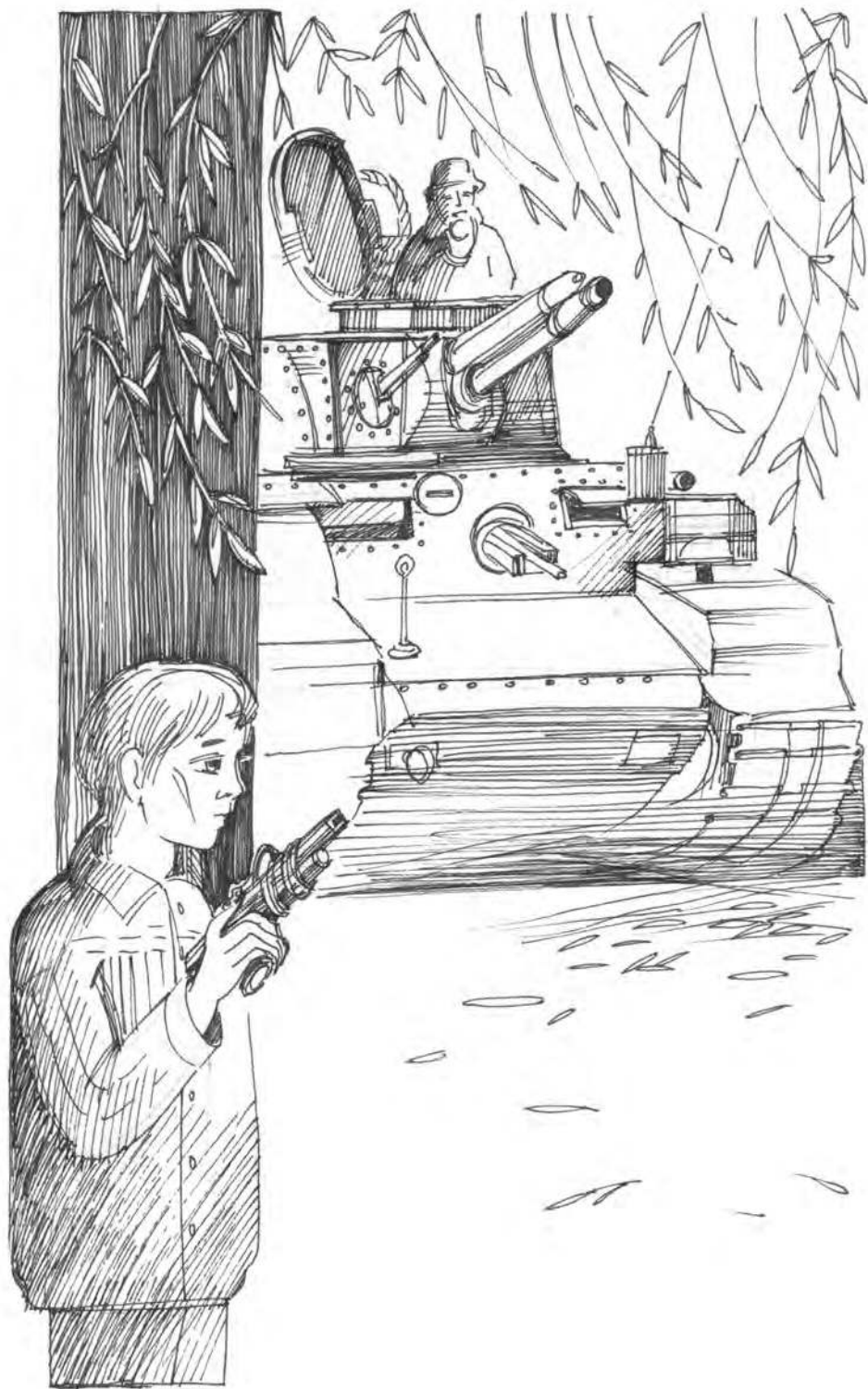
У него воистину обмякли ноги, когда из-за последнего дерева, что укрывало его возле чугунной ограды, сквозь обникшие древесные пряди он вдруг увидел у самого порога проходной фашистский танк. Сперва Фагот принял его за полуторку, которая должна была вывести из города заводских беженцев, но сквозь путаницу никлых ветвей разяще обозначился белый немецкий крест в чёрной окаёмке.

— Ничего себе полуторка! — возразил Фагот самому себе.

Танк был по самую башню заляпан вязкой осенней грязью, словно покрытый бугорчатой крокодильей шкурой. Между гусеничными катками и рессорными блоками намоталась хлебная солома с ещё нецветшими жёлтыми ястребинками и придорожным осотом. В башенном люке с откинутой крышкой высился танкист. Он был в нашенской ватной телогрейке, но в своей разлатой каске с каким-то знаком на левом виске. Позади башни желтела притороченная плетёная корзина, из которой танкист брал и хрустко кусал и ел янтарное яблоко. Он жевал не спеша, с видимым наслаждением, как едят вызревшую курскую антоновку.

Немец аккуратно огрыз семенной стержень, оглядел его со всех сторон и, убедившись, что выедать больше нечего, размахнулся и запустил огрызком в крону ивы, укравшую Фагота.

Может быть, этот надменный и самодовольный жест врага был последним толчком, после которого Фагот извлёк из-за пояса своё оружие, всегда заряженное и готовое к выстрелу. Он вставил в запальник обломок спички с полноценной серной головкой, после чего осторожно раздвинул ветки, просунул между ними гранёный ствол, и, всё так же расчётливо, с холодной неприязнью навёл мушку на перекрестье глаз и носа танкиста. Утвердив покрепче ноги, он чиркнул серником коробка по коричневой округлости спички. Жёстко, рубленно грохнул выстрел, заполнивший



сплетение веток сизым и кислым спичечным дымом. Не дожидаясь пока дым рассеется, Фагот пустился бежать от ограды, рассчитывая спрятаться за бетонным обводом фонтана. Но в тот миг, когда он вознёс себя над цементным кольцом, вдогон раздалась автоматная очередь, и он, вскинув руки и выронив самопал, рухнул вниз на заплесневелое днище фонтана.

...Его никто не искал, даже тот, в кого он целился, и Фагот ещё долго лежал в донной мокроте, скопившейся как раз под ним и уже обогрившейся от набежавшей крови. Он то приходил в мутное сознание, то снова терял его, всё чаще и дольше. Лишь спустя несколько часов из дверей угульной аптеки, разграбленной и зиявшей чёрными провалами недавних окон, вышла женщина в белом халате, с брезентовой сестринской сумкой через плечо. В поднятой кверху руке она держала марлевое полотенце и озабоченно махала им над головой. Таким образом она добралась до Фагота, пощупала пульс и наложила йодовый томпон на грудную рану. Потом подняла его голову и положила её на своё колено. Через какое-то время Фагот приоткрыл глаза и бледными, спёкшимися губами попытался что-то сказать.

— Лежите спокойно, вам нельзя затрудняться. У вас серьёзное грудное ранение. Сейчас придёт наш человек, и мы попробуем перенести вас в провизорскую.

Фагот напрягся и снова попытался заговорить. Медсестра наклонилась к его лицу.

— Попал я или нет? — услышала она горячечный шёпот. — Только одно слово: да или нет?

— Кто попал? В кого попал? — не поняла сестра, но увидев обронённый самопал, наконец сообразила, о чём её спрашивают. И убеждённо заверила:

— Да попал! Попал! Молчи только...

